

Пятая речь. Следствия указанного различия

В прошлый раз, чтобы описать своеобразие немцев, мы указали Вам основное различие между ними и другими народами германского происхождения: а именно то, что первые остались верными непрерывному течению своего изначального языка, развивающегося, как и прежде, на основе действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который и умертвили своим влиянием. В конце прошлой речи мы указали другие явления в этих народностях, обнаруживающих подобное различие, которые с необходимостью должны были последовать из этого основного различия между ними, а сегодня намерены развить описание этих явлений более подробно и еще прочнее обосновать их в общей их основе.

Исследование, заботящееся о том, чтобы быть основательным, может избавить себя от нужды вступать в иные споры и опровергать иных завистников. И как мы поступали прежде в том исследовании, продолжением которого служит наше теперешнее рассуждение, так поступим мы и теперь. Мы станем шаг за шагом логически выводить все, что следует из указанного нами основного различия, и при этом следить лишь за тем, чтобы этот вывод был неизменно правилен. Возникают ли в действительном опыте все те многообразные явления, которые должны наступить согласно этой нашей дедукции, или же нет – это я предоставляю решать лишь Вам и любому наблюдателю. Хотя, что касается в особенности немца, я покажу в свое время, что он действительно оказался таким, каким он и должен был быть согласно нашей дедукции. Но что касается германца-иностранца, то я не стану возражать, если один из этих иностранцев действительно поймет, о чем здесь собственно идет речь, и если впоследствии ему удастся доказать нам, что его соотечественники как раз были именно тем же самым, чем были немцы, и он сумеет совершенно снять с них любые подозрения в том, что свойства их противоположны. Вообще наше описание даже и этих противоположных свойств отнюдь не станет рисовать их в резком и невыгодном свете, ибо это сделает нам победу легкой, однако бесславной, но укажет лишь на необходимые последствия, и выразит их в выражениях настолько благопристойных, насколько позволяет нам уважение к истине.

Первое указанное мною следствие представленного основного различия было следующее: у народа с живым языком образование духа вторгается в саму жизнь; у народа же противоположного духовное образование и жизнь идут порознь, каждое своей дорогой. Полезно будет обстоятельнее объяснить вначале смысл высказанного нами положения. Прежде всего, коль скоро здесь идет речь о жизни и о вмешательстве духовного образования в эту жизнь, то под этим следует понимать изначальную жизнь и непрерывное ее протекание из истока всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование человеческих отношений в соответствии с их прообразом, и тем самым – сотворение жизни новой и никогда прежде небывалой. Но отнюдь не идет речи о простом поддержании этих

отношений на той ступени, на которой они уже находятся, не о предохранении их от возможного упадка, и тем более не о помощи только отдельным членам общества, отставшим в своем развитии от всеобщего образования. Далее, коль скоро здесь идет речь о духовном образовании, то под этим образованием следует понимать, прежде всего, философию (мы вынуждены назвать его иностранным именем, ибо немцы не позволили нам ввести в оборот давно уже предложенное немецкое название¹⁵): Философию, говоря я, нужно прежде всего понимать под таким образованием; ибо именно философия постигает в научной форме вечный прообраз всякой духовной жизни. И вот в ней, и во всякой основанной на ней науке, мы и хвалим теперь то в особенности, что у народа с живым языком она вмешивается в самую жизнь его. Между тем, и в кажущемся противоречии с этим утверждением, нередко говорили – и говорили, в том числе, наши же земляки, – что философия, наука, художество и тому подобное суть самоцели и не служат жизни, и что оценивать их по их полезности на службе этой жизни значит унижать их достоинство. Здесь уместно будет подробнее определить смысл этих выражений и защитить их от всякого неверного толкования. Эти суждения истинны, в следующем двояком, однако ограниченном смысле: верно, во-первых, что наука или искусство, как думали некоторые, не должны стремиться служить жизни на известной низшей ее ступени, например, земной и чувственной жизни, или пошлой назидательности; верно, во-вторых, что человек может, уединившись лично сам от всего духовного мира, совершенно предаться этим частным отраслям всеобщей божественной жизни, не нуждаясь в каком-либо мотиве вне их самих, и находить в них совершенное удовлетворение. Но эти суждения совершенно неверны в строгом смысле, ибо не может быть нескольких самоцелей, точно так же как не может быть нескольких абсолютных. Единственная самоцель, кроме которой не может быть никакой другой, это духовная жизнь. И вот эта духовная жизнь обнаруживается и является отчасти как вечное проистечение из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вовеки получает себе прообраз от науки, умение оформлять себя согласно этому образу – от искусства, и постольку может показаться, будто наука и искусство существуют как средства для деятельной жизни как цели. Но жизнь в этой форме деятельности сама никогда не бывает завершена и закончена как единство, но продолжается бесконечно. Если жизнь должна все-таки существовать в подобном законченном единстве, то она должна существовать как такое единство в некоторой иной форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которую дает описанное в третьей речи религиозное постижение; форма, которая, как законченное единство, пребывает в абсолютном распаде с бесконечностью поступков и в этом последнем – в деянии – никогда не может быть выражена вполне. Поэтому обе – как мысль, так и деятельность, – суть лишь распадающиеся в явлении формы, а по ту сторону явления они, – и одна, и другая, – суть та же единая абсолютная жизнь; и вовсе нельзя сказать, что мысль существует, и именно такова, ради поступков, или же поступки существуют и именно таковы ради мысли, но можно лишь сказать, что и то, и другое безусловно должно быть, ибо жизнь и в явлении так же должна быть законченным целым, как она есть законченное целое и по ту сторону всякого явления. А значит, в пределах этой сферы и вследствие этого рассуждения, сказать, что наука влияет на жизнь – значит сказать еще совсем немного: скорее сама наука есть жизнь, и жизнь в себе самосушая. – Или можно еще соотнести то же самое с одним известным выражением. Что толку во всем вашем знании, – слышим мы порою, – если человек не действует соответственно ему? В этом высказывании знание рассматривается как средство для действия, а это последнее – как подлинная цель. Можно было бы,

напротив, сказать: как же можно хорошо поступать, не зная, в чем состоит добро? А в этом высказывании знание рассматривалось бы как условие действия. Однако оба эти высказывания односторонни; а истина состоит в том, что и то, и другое – как знание, так и действие, – суть одинаково неотъемлемые элементы разумной жизни.

Но самосушей в себе жизнью, как мы только что выразились, наука бывает лишь тогда, когда мысль составляет действительный смысл и помышление (Sinn – Gesinnung) мыслящего, так что он без особенного труда и даже не осознавая этого сам вполне ясно, рассматривает и оценивает все остальное, что он мыслит, – рассматривает и оценивает вследствие этой своей основной мысли, и если мысль эта имеет влияние на поступки, столь же необходимо действует соответственно этой мысли. Но мысль отнюдь не будет жизнью и помышлением, если ее мыслят лишь как мысль чужой жизни, – как бы ясно и полно ни постигали ее при этом, как подобную лишь возможную мысль, и сколь бы кристально ясно мы ни представляли себе при этом в мысли, как кто-нибудь может мыслить подобным образом. В этом последнем случае наше помышленное мышление отделяет от действительного мышления обширное поле случайности и свободы, между тем как осуществить эту последнюю нам, возможно, и не удастся; а потому это помышленное мышление остается на дистанции от нас, остается лишь возможным мышлением, которое мы свободно совершили и теперь всякий раз должны лишь свободно повторять. В первом случае мысль непосредственно сама собою овладела нашей самостью и сделала ее самою собой, и в силу этой возникшей таким образом действительности мысли для нас мы доходим в нашем познании до постижения необходимости этой мысли. А к тому, чтобы это произошло именно так, нас, как сказано выше, не может принудить никакая свобода, но это именно должно само сделаться так, и сама мысль должна овладеть нами и образовать нас по себе.

Этой-то живой действенности мысли немало содействует, и даже (если только мышление совершается с должной глубиной и силой) рождает ее с необходимостью, мышление и обозначение на живом языке. Знаки такого языка сами непосредственно живы и чувственны и, в свою очередь, представляют в себе всю полноту своей жизни, и тем самым овладевают жизнью и вмещаются в нее; с обладателем такого языка говорит непосредственно дух и открывается ему, как человек – человеку. Знак же мертвого языка непосредственно ничего в нас не вызывает; чтобы войти в живое течение этого языка, нам нужно сперва повторить исторически заученные нами сведения из жизни погибшего мира, и умом своим перенестись в чужой образ мысли. Сколь же безмерна должна быть сила влечения к самостоятельной мысли, чтобы не утомиться в этой пространной и обширной области истории и не довольствоваться в конце концов скромным досугом в пределах этой последней! Если мышление обладателя живого языка не станет само живым, то мы без колебаний можем упрекнуть его в том, что он вовсе не мыслит, а только грезил. Обладателю мертвого языка мы в этом случае не можем сразу же высказать тот же упрек; он, может, и мыслит на свой манер – тщательно развивая понятия, зафиксированные в его языке; он только не сделал того, что, если бы только это удалось, можно было бы принять за настоящее чудо.

Нам становится теперь ясно, между прочим, что у народа с мертвым языком в самом начале, когда язык еще не стал всесторонне ясным, влечение к мышлению будет всего сильнее и произведет самые заметные результаты; но что, по мере того как язык будет становиться

все яснее и определеннее, это влечение станет все заметнее умирать в оковах своего языка, и что наконец философия такого народа вполне сознательно удовольствуется тем, чтобы быть лишь пояснением к словарю, или (как это более напыщенно выразил негерманский дух среди нас) метакритикой языка¹⁶; и что, наконец, подобный народ признает посредственное дидактическое стихотворение о лицемерии, облеченное в форму комедии, величайшим из своих философских произведений¹⁷.

Таким образом, говорю я, духовное образование, а здесь, в частности, – мышление на изначальном языке, – не вливается в жизнь, но оно само есть жизнь мыслящего так человека. И все же из этой, так мыслящей, жизни оно необходимо стремится оказать влияние на другую жизнь вне его, а значит – на наличную вне его всеобщую жизнь, и оформить ее по своему подобию. Ибо, именно потому, что это мышление есть жизнь, обладатель его чувствует с глубоким благорасположением его животворящую, просветляющую и освобождающую силу. Но всякий, кому открылся в сердце путь спасения, необходимо желает, чтобы этому спасению были причастны и все другие люди, и это побуждает его и заставляет работать для того, чтобы источник, в котором открылось ему собственное его благоденствие, мог распространиться и на других. Иное дело тот, кто просто постиг чужое мышление как возможное. Как для него самого содержание этого мышления не несет с собою ни радостей, ни горя, но служит лишь приятным занятием и развлечением его досуга, – так же точно он не думает он и не может думать, что оно может доставить радость или горе другому человеку, и для него в конечном счете безразлично, на чем этот другой станет упражнять свое остроумие и чем он наполнит часы своего досуга.

Среди тех средств, с помощью которых мышление, начавшееся в жизни одного человека, можно ввести в жизнь всеобщую, самое замечательное средство – это поэзия; а потому поэзия составляет вторую основную отрасль духовного образования народа. Мыслитель, когда он дает своим мыслям обозначение в языке (а это, согласно вышесказанному, он может делать не иначе как чувственно, и притом через новое созидание за пределами прежней сферы символического), есть уже непосредственно поэт; а если он не будет поэтом, то уже на первой его мысли у него в устах иссякнет язык, а попытайся он помыслить вторую, иссякнет и самое мышление. Провести это начатое мыслителем расширение и дополнение символической сферы языка через всю эту область символов, так чтобы каждый символ получил в своем месте подобающую ему часть нового облагорожения духа, и благодаря этому вся жизнь, до глубочайшего чувственного дна ее, предстала нам освещенной лучом нового света, нравилась нам и в бессознательной иллюзии становилась бы как бы сама собою лучше и благороднее – вот задача настоящей поэзии. Такая поэзия может быть только в живом языке, ибо только в нем творящее мышление может расширить символическую сферу его, и только в нем все уже созданное остается живым и открытым вливающимся потокам жизни, его сестры. Такой язык скрывает в себе способность бесконечной поэзии, которой суждено вечно молодеть и обновляться, ибо всякое движение живой мысли на этом языке открывает новую жилу поэтического вдохновения, и потому эта поэзия становится в нем превосходнейшим средством для того, чтобы достигнутое образование духа переливалось во всеобщую жизнь. На мертвом языке вовсе не может быть поэзии, в этом высшем смысле слова, ибо в нем отсутствуют все указанные сейчас условия поэзии. В таком языке может какое-то время быть некий заместитель поэзии, а именно вот как: Внимание народа привлекают к себе плоды поэтического искусства, имеющиеся на

коренном языке. Правда, вновь возникший народ не может продолжать творить в проторенной колее прежнего языка, ибо этот язык чужд его жизни; но он может ввести свою жизнь и ее новые отношения в символическую и поэтическую сферу, в которой прежний мир выражал свою собственную жизнь, и, например, облачить рыцаря в тогу героя, или наоборот, и заставить богов древности поменяться платьем с новыми богами. Именно благодаря такому непривычному облачению обыденного это обыденное обретет привлекательность, похожую на идеализацию, и возникающие в результате образы будут весьма приятны. Но то и другое – как символическая и поэтическая сфера коренного языка, так и новые жизненные отношения, – суть величины конечные и ограниченные, их взаимное проникновение будет когда-нибудь вполне завершено; но там, где оно завершилось, народ отпразднует свой золотой век, и там иссякнет источник его поэзии. Когда-нибудь, приравнивая законченные слова к законченным понятиям, а законченные символы – к законченным жизненным отношениям, в этом необходимо дойдут до высшего совершенства. А достигнув этой высшей точки, народ сможет, самое большее, или повторять на разные лады свои наиболее удавшиеся шедевры, так чтобы они имели вид чего-то нового, тогда как они – лишь хорошо известное старое, – или же, если поэты пожелают быть совершенно новыми, они прибегнут к неуместному и неприличному, и так же точно смешают в поэзии прекрасное с безобразным, и с усердием возьмутся за сочинение юморесок и карикатур, как они окажутся вынужденными спутать все понятия и смешать добродетель с пороком, если желают говорить в прозе на новый лад.

И когда в народе духовное образование и жизнь развиваются таким образом порознь, каждое своей дорогой, – то само собой получается, что сословия, не имеющие доступа к духовному образованию, и которым даже не считают нужным сообщать последствия этого образования, как то делается в живом народе, оказываются здесь по сравнению с образованными сословиями в пренебрежении, и считаются как бы людьми иной породы, которые изначально и с рождения не равны первым по способностям своего духа; что поэтому образованные сословия ничуть не испытывают любящего участия к ним и не чувствуют влечения сколько-нибудь существенно помочь им, будучи именно убеждены, что этим сословиям, вследствие их изначально неравенства, ничем помочь нельзя, и что образованные скорее чувствуют побуждение лишь к тому, чтобы пользоваться ими, как они есть, и позволять другим использовать их в этом их виде. В начале жизни нового народа и это последствие умертвления им своего языка могут смягчить в нем человеческая религия и недостаток ловкости в самих высших сословиях, но впоследствии это презрение к народу будет все более откровенным и жестоким. С этой общей причиной заносчивости и важничанья в образованном сословии соединилась еще одна частная причина, которую мы не можем обойти здесь нашим вниманием, потому что она оказала весьма широкое влияние даже и на немцев. А именно, римляне, которые поначалу, сравнивая себя с греками и весьма простоудушно повторяя за ними, называли самих себя варварами, и собственный свой язык – варварским, перенесли впоследствии это усвоенное себе название на других, и нашли у германцев то же доверчивое прямодушие, которое сами вначале выказывали грекам. Германцы думали, что смогут избавиться от варварства не иначе, как если сами станут римлянами. И вот эти народы, сами пришельцы на прежней римской земле, сделались римлянами, насколько это было в их силах. Но в их воображении слово «варварский» получило смысловой оттенок «пошлого», «вульгарного», «неуклюжего», а потому «римское», в противоположность ему, сделалось синонимом благородства. Это проникло до

самых общих и самых частных свойств их языков, ибо там, где были приняты меры к обдуманному и сознательному образованию языка, там эти меры имели целью – выбросить прочь германские корни и составить слова из корней римских, создав таким образом романтический язык придворного и образованного круга; и, в частности, если два слова в нем имеют одинаковое значение, то, почти без единого исключения, слово германского корня означает нечто неблагородное и дурное, слово же римского корня – нечто более благородное и возвышенное.

Словно какая-то коренная зараза всего германского племени, это же может случиться и с немцем в его отечестве, если возвышенная серьезность духа не послужит ему защитой. И нашим ушам звуки латинской речи нередко кажутся возвышенными, и нашим глазам римские нравы представляются благородными, а немецкие – вульгарными; а раз мы не были настолько счастливы, чтобы получить все это из первых рук, то запросто соглашаемся принять это и из вторых рук, через коммивояжеров из числа новых римлян. Пока мы немцы, мы кажемся сами себе такими же людьми, как другие; когда же мы говорим наполовину или больше чем наполовину на чужом, не немецком, наречии, и носим непохожие нравы и платья, привезенные по-видимому из дальних стран, мы сразу мним себя благородными; но величайшее торжество для нас, это – если нас вовсе уже не считают за немцев, а видят в нас, например, испанцев или англичан, – смотря по тому, кто из них теперь более в моде. И мы правы. Естественность, со стороны немцев, произвольность и деланность, со стороны иностранцев, – таково основное различие; если мы сохраним в себе первую, то именно что будем таковы же, как весь наш народ; народ поймет нас и признает в нас подобных себе; только если мы прибегнем к подражанию последним, мы станем непонятны для него, и он сочтет нас существами иного мира. В жизнь иностранца эта неестественность входит сама собою, потому что он изначально и в главном уклонился от природы; а мы вынуждены сперва отыскивать ее, и еще приучать себя верить, будто прекрасно, уместно и удобно то, что нам естественным порядком таким не кажется. Основная причина всего этого – твердая вера немца в большее благородство романизированной заграницы, а равно и склонность вести себя столь же благородным образом и искусственно создать также и в Германии ту пропасть между высшими сословиями и народом, которая естественно возникла за границей. Здесь достаточно будет указать основной источник этой тяги к подражанию иностранщине среди немцев. Сколь обширно ее распространение, а также и то, что зло, от которого гибнет ныне наш народ, – иностранного происхождения, но что оно должно было повлечь за собою нравственную порчу, только соединившись с немецкой серьезностью и стремлением воздействовать на жизнь своей мыслью, – это мы покажем в другой раз. Кроме двух этих явлений, возникающих вследствие основного различия, – а именно, вмешивается ли духовное образование в развитие жизни или нет, и существует ли преграда между образованными сословиями и народом или нет, – я укажу еще вот какое явление: народ с живым языком обнаруживает прилежание и серьезность и прилагает старания во всех делах, народ же с мертвым языком считает духовное занятие скорее некоторой игрой гениальности, и пассивно предается произволу своей счастливой природы. Это обстоятельство само собою следует из вышесказанного. У народа с живым языком исследование возникает из потребности жизни, которую это исследование должно удовлетворить, и получает отсюда все понуждающие импульсы, заключающиеся в самой жизни. У народа с мертвым языком это исследование стремится единственно лишь к тому, чтобы приятно и не без пользы для чувства прекрасного провести время, и если оно так и

сделает, оно вполне достигнет своей цели. У иностранцев последнее почти необходимо так; у немца же, там где мы встречаем это явление, все настойчивые ссылки на гениальность или счастливую природу суть недостойная немца иностранщина, которая, как всякая иностранщина, появляется от желания выглядеть поважнее. Хотя ни в каком народе на свете без изначального стимула в душе человека, – который, как сверхчувственный, по праву носит иностранное имя гения, – не может возникнуть ничего замечательного. Но этот стимул сам по себе только возбуждает воображение и рисует в нем витающие над землей и никогда не достигающие полной определенности фигуры. Чтобы эти фигуры получили законченность, вплоть до самого основания действительной жизни, и достаточную определенность, чтобы могли быть в этой жизни долговечны, – для этого нужно усердное, тщательное и совершающееся по твердому правилу мышление. Гениальность дает прилежанию материал для обработки, и прилежание без гениальности могло бы обрабатывать или только то, что уже было им прежде обработано, или же ему не над чем было бы трудиться. Но прилежание вводит этот материал, который без него остался бы игрою без содержания, в самую жизнь; и потому лишь сообща они на что-то способны, поодиночке же они ничтожны. А кроме того, у народа с мертвым языком подлинная гениальность решительно не могла бы проявиться, потому что им недостает изначальной способности обозначения, и они могут только развивать уже начатое и вплетать его в совокупность уже имеющихся и законченных обозначений.

Что касается, в частности, большего труда, то вполне естественно, что он достается народу с живым языком. Живой язык может стоять сравнительно с другим языком на более высокой ступени образования, но он никогда не сможет сам по себе получить такую законченность и образованность, которую без труда получает мертвый язык. В последнем словесный объем языка закончен, а многообразие возможных уместных сочетаний этих слов тоже постепенно бывает исчерпано, – так что тому, кто желает говорить на этом языке, приходится именно только говорить на нем, как он есть; а когда он однажды научится этому, язык будет сам говорить в его устах, мыслить и слагать стихи за него. А в живом языке, если только люди действительно живут в нем, слова и их значения непрестанно умножаются и изменяются, и именно благодаря этому оказываются возможны новые сочетания их, и язык, который никогда не есть, но всегда только становится, говорит здесь не сам по себе, но тот, кто хочет пользоваться этим языком, вынужден именно что сам, на свой манер и творчески говорить на нем для своих нужд. Последнее же, без сомнения, требует гораздо большего прилежания и упражнений, чем первое. Так же точно, как мы уже говорили, у народа с живым языком его исследования восходят до самых корней истечения понятий из духовной природы; в мертвом же языке они пытаются лишь проникнуть в смысл чужого понятия, сделать его понятным для себя, и таким образом они в самом деле бывают лишь историческими и истолковательными, а у первого народа они суть подлинно философские исследования. Понятно само собою, что исследование этого последнего рода быстрее и легче может достичь завершения, чем исследование первого рода.

И наконец, гений иностранца усыплет цветами исхоженные военные дороги древности, и соткет изысканно-красивый наряд той житейской мудрости, которая легко сойдет у него за философию; немецкий же дух станет прокладывать новые шахты, и вносить свет дня в их бездонные пропасти, и ворочать массивные глыбы мысли, из которых будущие века выстроят себе жилища. Гений иностранца будет подобен хорошему эльфу, что легко

порхает над цветами, которые сами собою пробиваются из почвы, садится на цветы, не обременяя нисколько собою их стеблей, и пьет с них по капле освежающую росу; или пчеле, что деловито и ловко собирает мед с этих цветов и складывает его в правильно построенные ею в красивом порядке соты; а немецкий дух подобен орлу, что мощно поднимает ввысь свое тяжелое тело и сильным взмахом испытанных крыльев рассекает воздух, чтобы подняться еще ближе к солнцу, на которое он так любит смотреть.

Соединим все вышесказанное в одном основном соображении. Применительно к истории образования человеческого рода вообще, который исторически распадается на древность и новый мир, отношение двух описанных нами основных племен к первоначальному формированию этого нового мира будет, в общем и целом, таково. Часть новорожденной нации, оказавшаяся за границами отечества, приняв язык древности, получила благодаря этому гораздо большее сродство с этой древностью. Для этой части нации поначалу станет гораздо легче постичь язык этого древнего народа также и в его первой и неизменной форме, проникнуть в смысл памятников его образованности и внести в эти памятники приблизительно столько живой свежести, чтобы они могли приобщиться к возникшей только что новой жизни. Короче, именно от этих народов начнется в новейшей Европе изучение классической древности. Вдохновляясь все еще нерешенными задачами этой науки, эти народы станут трудиться над их дальнейшим решением, но, разумеется, лишь так, как решают задачу, которую ставит перед нами не потребность жизни, а просто любознательность – относясь к ней легко, постигая ее не всей душой своей, а одним только воображением, и единственно в этом воображении даруя ей легкие черты воздушного тела. При богатстве материала, оставленного нам древностью, при той легкости, с которой можно работать подобным образом над этим материалом, они представят кругозору нового мира великое множество таких образов древности. Эти уже облеченные в новую форму образы древнего мира, явившись среди той части первоначального племени, которая, сохранив природный язык, осталась в непрерывном потоке первоначального образования, привлекут к себе и ее внимание и побудят ее к самостоятельности, – они, которые, останься они в прежней форме, прошли бы, может, мимо нее незамеченными и неслышанными. Но эта часть первоначального племени, если только она действительно постигнет их, а не передаст их только другим из рук в руки, постигнет их соответственно своей природе – не в отвлеченном знании чужого, но как составную часть своей собственной жизни; а потому она не только выведет их из жизни нового мира, но и вновь введет их в эту жизнь, воплощая их, прежде только воздушно-легкие, очертания в плотные тела, которые будут долговечны и устойчивы в стихии действительной жизни.

В этом превращении, которого сама заграница никогда не смогла бы произвести над образом древности, она вновь получит его от этого народа, и лишь благодаря этому процессу станет возможно дальнейшее формирование человеческого рода на путях древности, соединение двух основных его половин и правильное течение человеческого развития в дальнейшем. В этом новом порядке вещей наша родина ничего не будет собственно изобретать; но – и в малейшем, и в величайшем, – она всегда должна будет признаться себе, что ее побудил к тому некий намек иностранцев, иностранцев же к этому в свою очередь побудили древние; но наше отечество примет всерьез и введет в недра жизни то, что там только бегло, вскользь и шутя набросают. Здесь, как мы уже и говорили, не место доказывать это обстоятельство верными и далеко идущими примерами, и такое

доказательство мы оставляем за собою до следующей речи.

Обе части единой нации остаются таким образом едины, и лишь в этом одновременном разделении и единстве они будут привоем на стволе образования в античном духе, которое в противном случае совершенно прервалось бы в новое время, и человечеству пришлось бы снова начинать весь свой путь сначала. И обе части нации должны познать себя – каждая и саму себя, и другую – в этих своих определениях, различных в исходном пункте, но вновь сходящихся у цели, и соответственно им должны пользоваться друг другом; а в особенности они должны смириться с тем, чтобы поддерживать одна другую и хранить в первоначальной чистоте это свое и другой половины своеобразие, если целое должно преуспеть во всестороннем и полноценном образовании. Что же до этого познания, то оно, вероятно, должно исходить из нашего отечества, которому прежде всего даровано чувство духовной глубины. Но если, будучи слепа к подобным отношениям и увлекаясь поверхностной кажимостью, заграница когда-нибудь задастся целью лишит свое отечество самостоятельности и тем самым уничтожить его и воспринять в себя, – то, если бы эта затея удалась, заграница тем самым отрезала бы последнюю жилу, которая еще связывала ее до сих пор с природой и жизнью, и ее постигла бы совершенная духовная смерть, которая и так уже все с большей очевидностью являла себя с течением времени как ее подлинная сущность; а тогда и в самом деле остановился бы, продолжавшийся до сих пор непрерывно, поток образования человеческого рода, и необходимо началось бы опять варварство, и от этого варварства не будет спасения, пока все мы не поселимся вновь в пещерах, подобно диким зверям, и не начнем подобно им пожирать друг друга. Что это действительно так, и что необходимо должно случиться так, – это, конечно, может понять только немец, да только он и должен это понять: иностранцу, которому, коль скоро он не знает чужой образованности, открыто безгранично широкое поле для того, чтобы любоваться собою в своей собственной, это покажется – и необходимо должно казаться – безвкусной бранью непросвещенного невежды.

Заграница – это земля, от которой отделяются и возносятся к облакам плодотворные пары, и через которую прежние боги, сосланные в Тартар¹⁸, еще сохраняют связь с областью живых. Наша родина – окружающее эту землю вечное небо, на котором легкие эти пары сгущаются в облака, и облака эти, отягощенные молнией громовержца, что является к нам из иного мира, ниспадают на землю плодоносным дождем, соединяющим землю и небо, и позволяющим тем дарам, коих родина – небо, прорасти из недр земных. Не собираются ли новые титаны опять штурмовать небо? Оно не будет для них небом, ибо они – земнородные; вид и воздействие неба просто отдалится от них, и у них останется лишь их земля, – холодное, мрачное и бесплодное жительство. Но что может сделать, – как говорит один римский поэт, – что может сделать Тифей, или могучий Мим, или Порфирион в угрожающей позе, или Рет, или бесстрашно несущий вырванные с корнем деревья Энкелад, если столкнутся они с звонким Паллады щитом¹⁹? – Этот самый щит укроет, без сомнения, и нас, если мы сумеем вовремя стать под его защиту.

Примечание к странице [20].

О большем или меньшем благозвучии языка также, по нашему мнению, следовало бы заключать не по непосредственному впечатлению, зависящему от столь многих

случайностей, но и подобное суждение должно быть возможно основать на твердых принципах. Заслугу некоторого языка в этом отношении нужно видеть, несомненно, в том, чтобы он, прежде всего, исчерпывал и всесторонне представлял в себе возможности человеческого органа речи, далее, чтобы он соединял между собою отдельные звуки этого органа в естественную и приличную слитность. Уже из этого следует, что те нации, у которых органы речи формируются лишь отчасти или односторонне, и которые под предлогом трудности или неблагозвучия избегают произносить известные звуки или их сочетания, и которым запросто может показаться благозвучным только то, что они привыкли слышать и могут произнести сами, не имеют права голоса в подобном изыскании.

Каково же окажется теперь, при предпосылке этих высших принципов оценки, наше суждение о немецком языке в этом отношении, – этот вопрос мы оставляем здесь без ответа. В самом коренном римском языке каждая новоевропейская нация произносит слова сообразно своему собственному говору и диалекту, и восстановить подлинное произношение древних римлян будет, по-видимому, непросто. А потому остается только один вопрос: действительно ли, в сравнении с новолатинскими языками, немецкий язык звучит столь дурно, резко и грубо, как склонны думать некоторые?

Пока на этот вопрос не найдено основательного ответа, объясним, по крайней мере, предварительно, как это получается, что иностранцам и даже немцам, даже если они судят непредвзято, и лишены всякого пристрастия или ненависти, дело представляется именно так. – Народ еще необразованный, обладающий очень живым воображением, детски-непосредственный в своих чувствованиях и лишенный национального тщеславия (а все эти свойства были, похоже, присущи германцам), чувствует тягу к тому, что вдали, и охотно переносит в неясную даль (в далекие земли и заморские острова) предмет своих желаний и все то прекрасное, что он предчувствует в будущем. В нем развивается романтическое чувство (слово понятно само по себе и едва ли могло быть составлено точнее). Звуки и гласы из этих дальних краев достигают этого чувства и возбуждают весь заключенный в нем мир предчувствуемых чудес, и потому они нравятся.

Поэтому, вероятно, и случается, что наши отправившиеся в дальние края земляки так легко сменили собственный язык на чужой, и что даже до сих пор нам, их весьма далеким родственникам, так чарующе приятны звуки чужой речи.

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:20:10

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:21:11